



Найджел Рааб

И всё  
СОДРОГНУЛОСЬ

Стихийные бедствия  
и катастрофы  
в Советском Союзе



С о в р е м е н н а я   з а п а д н а я   р у с и с т и к а

«Современная западная русистика» /  
«Contemporary Western Rusistika»

Найджел Рааб

**И все содрогнулось...  
Стихийные бедствия и  
катастрофы в Советском Союзе**

«Библиороссика»

2017

УДК 316.4.051.3  
ББК 60.524

**Рааб Н.**

И все содрогнулось... Стихийные бедствия и катастрофы  
в Советском Союзе / Н. Рааб — «Библиороссика»,  
2017 — («Современная западная русистика» / «Contemporary  
Western Rusistika»)

ISBN 978-5-6045354-9-3

Книга Найджела Рааба посвящена стихийным бедствиям и техногенным катастрофам в СССР. В центре его внимания — землетрясения в Крыму, в Ашхабаде, Ташкенте и в Армении, а также катастрофа на Чернобыльской АЭС. Изучая самые крупные катаклизмы, происходившие в разные периоды советской истории, исследователь тем самым проливает свет на важные изменения в социальной, культурной и политической сферах. Издание предназначено для специалистов по истории СССР, для студентов высших учебных заведений, а также для всех интересующихся историей катастроф, советского государства и общества. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 316.4.051.3

ББК 60.524

ISBN 978-5-6045354-9-3

© Рааб Н., 2017

© Библиороссика, 2017

# Содержание

Благодарности	6
Введение	8
1. Понятие бедствия	17
Конец ознакомительного фрагмента.	27

**Найджел Рааб**  
**И всё содрогнулось... Стихийные бедствия**  
**и катастрофы в Советском Союзе**

*Галине Николаевне Шпякиной, другу и историку*

© Nigel Raab, text, 2017

© McGill-Queen's University Press, 2017

© А. Е. Чёрный, перевод с английского, 2021

© Academic Studies Press, 2020

© Оформление и макет ООО «Библиороссика», 2021

## Благодарности

Поезжайте как-нибудь по автостраде № 5 на север от Лос-Анджелеса, сверните затем на 166-ю окружную, далее на запад, напрямик через городок Марикопу, а там – чуть в гору и направо по Сода-Лейк-роуд. Еще минут двадцать мимо заброшенных ферм и выжженных солнцем полей, за которыми вправо будет уходить проселочная дорога. Пара минут – и перед вами поразительной красоты укромное местечко; здесь, прямо над разломом Сан-Андреас<sup>1</sup>, благодарность сама так и просится на бумагу.

Давно минули дни, когда мыслитель в уединении ожидал, пока его осенит, чтобы вскричать «Эврика!», – нынче книги рождаются благодаря помощи и участию друзей, коллег и окружения пишущего в целом. Именно поэтому я говорю *merci beaucoup* Линде О’Доннелл, которая помогла мне обуздать норовистый французский, *danke* – Алисе Рааб, выправившей немецкий, и *спасибо* – Марии Ленцман, пригладившей русский и украинский. Трудно предположить, что бы случилось с этой книгой, если бы не грандиозная работа по межбиблиотечному обмену нашего библиотекаря Орландо Пенетранте: его стараниями я был готов поверить, что у нас в библиотеке книг ничуть не меньше, чем в Библиотеке Конгресса! Особой благодарности заслуживают работники государственных архивных фондов в Москве и Киеве, помогавшие мне в работе на протяжении целого десятилетия, с поразительным усердием и вниманием снабжая меня необходимыми документами. Также я многим обязан своим коллегам с исторического факультета Университета Лойола Мэримаунт, побуждавших меня к ясности изложения всякий раз, как мое перо норовило напустить туману. Я весьма признателен Клаусу Гестве из Тюбнгена и Марку Эли из Парижа за их замечания о первых частях работы, а также Кате Доозе из Берлина за ценнейшие сведения о Ташкенте. И, конечно же, чудным анонимным рецензентам, внесшим немало замечательных корректив: далеко не все им было по душе тогда, да, вероятно, многое не устроило бы и теперь, но благодаря им нижеследующие страницы преобразились весьма существенно. Моя особая благодарность Колледжу Беллармин при Университете Лойолы Мэримаунт за финансовую поддержку перевода этой книги.

Неоценимый вклад в работу над книгой внесли сотрудники издательства «McGill-Queen’s University Press». Я должен отдельно поблагодарить Джонатана Краго за наши с ним беседы о том, как сделать ее чем-то большим, нежели просто изданием очередных академических штудий. На славу потрудились Джоанна Ричардсон, редактор книги, и Дэвид Дрюммонд – иллюстратор, подготовивший для нее превосходную обложку. А благодаря Райану Ван Хьюсти весь издательский процесс шел как по маслу.

Поскольку я, как и любой автор, обладаю телом, во время работы мне требовалось где-то находиться физически. Людмила Жаворонкова любезно предоставила в мое распоряжение теплый дом в самом сердце Москвы, благодаря чему все необходимые мне архивы оказались в пешей доступности; немалую роль в появлении настоящей книги сыграла и река Гатино, протекающая к северу от Оттавы. Также благодарю Джозефа и Симону Майнго, предоставивших мне возможность наслаждаться чудесным предрассветным видом скованной льдом реки из окна своей спальни, прежде чем вновь забарабанить по клавиатуре.

Незримая константа, присутствующая повсюду, словно воздух, которым мы дышим, – это семья. С тех пор как я впервые пустился в историческое путешествие, неизменно самую горячую поддержку оказывали мне мои родители. Сестра и члены ее семьи щедро делились со мной энергией, когда собственные мои запасы иссякали. И наконец, об руку со мной всегда шла моя жена Кэролин – и да пребудет она со мной вовеки!

Карризо Плэйн, Калифорния.

---

<sup>1</sup> Разлом между тихоокеанской и североамериканской плитами протяженностью более 1300 км. – *Примеч. пер.*

Октябрь 2016 года.

## Введение

Природа всегда действует по-своему. Невзирая на колоссальные усилия, приложенные человеком к ее обузданию, покорить природу раз и навсегда человечество так и не сумело. В мире тотальной индустриализации человек просто и уверенно рассудил, что вся окружающая его земля – его владения, а значит, он вправе распорядиться, скажем, энергией реки, забетонировав ее русло, как в случае с рекой Лос-Анджелес, или же воспользовавшись новейшими достижениями технического прогресса – вроде устройства огромной дамбы на Днестре. И вместе с тем даже столь масштабные проекты затронули лишь крошечную часть территории планеты. Так что, несмотря на то что люди индустриальной эпохи вторглись в весьма обширные пространства, осуществляемые ими проекты затронули лишь довольно ограниченные участки. Сложившиеся представления о грандиозности масштабов изменений не принимали в расчет того, что повсюду в океане – да и практически на всей суше – природа все еще действует столь же привольно, как и прежде.

Лишь в последние два-три десятилетия ученые и активисты наконец задумались об ограниченности человеческой власти над природой: после урагана «Катрина» 2005 года, землетрясения на Гаити в 2010-м, цунами и последовавшей за ним аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011-м уже было бы довольно странно притязать на полное владение ситуацией. Перечисленные катастрофы скорее делают более заметным наследие безответственного и расистского прошлого государств, а также все еще бытующие стародавние колониальные штампы, в результате чего общества, прежде столь уверенные в своем технологическом всевластии, оказываются вынуждены пересмотреть наиболее фундаментальные воззрения на источники энергии. Глядя на все эти недавние катаклизмы, невольно задумаешься: а вдруг наша планета сделалась более капризной? Она то и дело трясется, извергая то пламень, то ливень; как бы то ни было, вера человечества в собственные силы оказалась серьезно подорвана.

Все сказанное относится и к Советскому Союзу в той же мере, что и к иным странам: в ретроспективе ясно, что его убежденность в способности государства обуздать природу была столь же безрассудной. Советские инженерные проекты нанесли существенный вред окружающей среде, и даже лучшие из них оказались не в состоянии предотвратить возникновение природных катаклизмов на огромных территориях страны. Пусть он и стремился всеми силами показать обратное, Советский Союз все же оставался весьма небезопасным местом.

На Дальнем Востоке целые области регулярно страдали от затоплений и подземных толчков; сердце Евразийского континента весной оказывалось залито паводками, а летом его выжигали лесные пожары; Среднеазиатский регион страдал от землетрясений, а также от горных рек, сходящих бушующими оползнями, разоряя поселения у подножия гор. Часто подобные катаклизмы не наносили человеческим сообществам никакого урона: скажем, Тунгусский метеорит, за десятилетие до большевистской революции уничтоживший около двух тысяч квадратных километров сибирской тайги, произвел довольно слабый эффект, разве что став поводом для ряда научных экспедиций. К сожалению, так было далеко не всегда: на протяжении всей советской эпохи города и деревни страны страдали как от природных, так и от рукотворных катаклизмов. Начиная с частных случаев вроде блуждания до смерти в снежной буре – классической аллегории, недавно столь умело использованной В. Г. Сорокиным в его «Метели» [Сорокин 2010], – до землетрясений с тысячами жертв в столицах союзных республик; словом, с неожиданными бедствиями в Советском Союзе были знакомы не понаслышке.

В нечастых воспоминаниях переживших то или иное мощное землетрясение ясно прослеживается единый лейтмотив: взращиваемая новым индустриальным обществом уверенность в собственных силах неспособна полностью вытеснить из сознания человека мысль о возможности катастрофы. Бывший заведующий сейсмостанцией «Ташкент» В. И. Уломов был не

только блестящим знатоком истории сейсмической активности Узбекистана, но и ее свидетелем уже с самого детства. Первое сильное землетрясение, очевидцем которого он стал, случилось в 1946 году; он видел, как «все выбежали на улицу, подальше от качающихся домов, большей частью сложенных из сырцового кирпича» [Кудайбергенова, Эрметова, Каланов 2008]. Эпицентр толчка тогда располагался много выше – в Чаткальских горах, где жителей было совсем немного. Вспоминая ташкентскую катастрофу 1966 года, очевидцы описывали смутную тревогу, которую не в силах были разрешить никакие лозунги. Шестнадцатилетнему Р. А. Сагдуллаеву<sup>2</sup> самому «не было страшно», но он чувствовал ощущение страха, царившее в окружающих. Это ощущение, впрочем, довольно скоро развеялось, и жители столь свыклись с постоянными толчками, что даже перестали реагировать на что-либо ниже пяти баллов по шкале Рихтера. Примечательно, что во время землетрясения Сагдуллаев участвовал в съемках на киностудии «Узбекфильм»; пусть сам юноша тогда и заявил, что ничуть не испугался, но все же и он, и его коллеги в дальнейшем всеми силами старались избегать съемок на «Узбекфильме», опасаясь, что павильоны могут обрушиться. Подобные тревоги – обычное дело для того, кто жил в сейсмически чувствительном регионе [Кудайбергенова, Эрметова, Каланов 2008].

Но даже для тех, кому не довелось лично пострадать от какой-либо катастрофы, всегда сохранялась вероятность так или иначе с ней столкнуться. Ведь всевозможные бедствия фигурировали в популярной культуре, напоминая читателю или зрителю об исторических – а значит, и способных повториться – катастрофах. К примеру, в последней части романа И. А. Ильфа и Е. П. Петрова «Двенадцать стульев», опубликованного в конце двадцатых годов, главные герои оказываются в Ялте во время землетрясения [Ильф, Петров 1961: 369–372]. В экранизации Леонида Гайдая (1971) от землетрясения рушится местный театр. Тема природных катаклизмов не была, конечно, так же популярна, как революционные или героические истории времен Великой Отечественной войны, и тем не менее она всплывала с завидным постоянством. Мысль о несчастье и в самом деле могла в любой момент всплыть в сознании советского гражданина.

Несмотря на регулярность различных бедствий в Советском Союзе, как крупных, так и менее значительных, исследователи уделяли их изучению не слишком много внимания<sup>3</sup>. Пол Стронски перечисляет подряд страшные землетрясения в Ашхабаде, Ташкенте и трагедию на Чернобыльской АЭС, но лишь для того, чтобы затем вскользь обмолвиться, будто Советы не знали, как обуздать стихию, несмотря на масштабность своих планов. То, каким образом менялась с течением времени реакция на это государства, явно не представляет для него существенного интереса [Stronski 2010]. А ведь подобного рода бедствия открывают широкий простор для пытливого исследователя; не стоит использовать их лишь в качестве предлога для того, чтобы лишний раз рассказать о советских неудачах. На протяжении по крайней мере двух десятилетий в немецкоязычной и франкоязычной историографии катастрофы изучались в самых разных контекстах, но даже в этих работах советским бедствиям внимания уделено не было<sup>4</sup>. Особняком здесь стоит чернобыльская катастрофа, однако же и ее изучали изолированно и зачастую лишь в аспекте той или иной научной дисциплины. Таким образом, целью нижеследующего повествования является открыть для читателей новый эмпирический пейзаж и попытаться оспорить ставшие уже привычными стереотипы о Советском Союзе.

<sup>2</sup> Позже он сыграет Ромео в ленте «В бой идут одни “старики”». – *Примеч. пер.*

<sup>3</sup> Джеймс Оберг составил каталог различных катастроф, не помещая их, однако, в сопутствующий социокультурный контекст. См. [Oberger 1988].

<sup>4</sup> См. следующие работы на французском и немецком языках: [Beck 1986; Waldherr 1997; Schmidt 1999; Quenet 2005; Acot 2006; Beck 2007; Briese, Günther 2009; Walter 2010; Utz 2013]. Исключение составляют работы о землетрясении в Армении Марка Эли [Elie 2013] и Дональда и Лорны Миллер [Miller D., Miller L. 2003: 14].

Учитывая волну недавних бедствий, прокатившуюся от дельты Миссисипи до берегов Японии, история советских катастроф добавляет в изучение изменений окружающей среды в третьем тысячелетии ключевые аспекты. И раз экологи и политики разных стран все более сходятся в том, что природа умеет навязывать человеку собственную волю, историку также следует присоединиться к обсуждению, предложив взглянуть на трагедии, уже повлиявшие на политику и судьбы сверхдержав минувшего столетия.

Когда бы ни случалась беда, Советскому государству приходилось каким-либо образом на нее реагировать, предоставляя советскому гражданину средства, чтобы с ней справиться. В случае, скажем, небольшой аварии на дороге можно было ограничиться кратким отчетом; в иных же ситуациях требовались куда более серьезные меры и ресурсы. При наводнениях всегда было необходимо эвакуировать население, а значит, и разместить людей во временном жилье. Землетрясения, способные за несколько секунд уничтожить целый город, вынуждали градостроителей, архитекторов, рабочих и медиков оценивать риски для детей и стариков. К примеру, после мощных землетрясений в Ашхабаде в 1948 году и в Ташкенте в 1966 году потребовалось перестраивать оба пострадавших города; помочь в восстановительных работах прибыло огромное количество людей со всех концов страны. Еще более отчаянной оказалась ситуация в апреле 1986 года, после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС: чтобы взять ее под контроль, Советскому Союзу пришлось полностью мобилизовать свою ресурсную базу.

Аргументация и подход властей менялись в зависимости от характера конкретного происшествия и нужд той или иной группы, на него реагировавшей. Все это не только подчеркивает разнообразие подходов в авторитарных условиях Советского государства, но также указывает на то, что не все бедствия воспринимались одинаково. Ведь если некоторые катастрофы становились крупными медийными темами, то другие не замечались вовсе. Крупный взрыв радиоактивных отходов в 1957 году – значительно менее разрушительный, чем землетрясение в Ташкенте, – был долгое время засекречен и сделался предметом обсуждения лишь в свете взрыва в Чернобыле в 1986 году [Медведев 2017]. В 1975 году по Одессе прошелся сильный шторм, в результате чего жизнь города практически полностью остановилась. Несмотря на то что ураганы в семидесятые годы были в политическом отношении не столь болезненной темой, как ядерные взрывы в пятидесятые, местные газеты написали о случившемся лишь пять дней спустя. С другой стороны, ташкентское землетрясение 1966 года моментально попало на первые полосы и оставалось там еще многие месяцы. Что примечательно, в 1966 году в Узбекистане имело место и другое природное бедствие: случившийся спустя несколько месяцев мощный паводок оказался даже более разрушительным и смертоносным, чем землетрясение. Однако, несмотря на то что о паводке написали оперативно, выражая соболезнования эвакуированным жителям, темой активного обсуждения он так и не стал. Подобно дереву, упавшему в глухой чаще, это бедствие, как и многие другие, так и осталось практически неизвестным. Рассматривая катастрофы в таком ключе, в настоящей работе я выхожу за рамки простого обсуждения цензуры, стремясь продемонстрировать, что в каждой конкретной ситуации требовалось предпринять и конкретные меры. Подобный взгляд резко контрастирует с позицией, занимаемой Эллиен Мицкевич, которая полагает, что Советы никогда не желали освещать катастрофы в прессе [Mickiewicz 1988: 29]. На деле же реакция советского правительства каждый раз зависела от местных обстоятельств и государственных потребностей. Держа это в уме, стоит весьма осторожно сравнивать горбачевский период с освещением бедствий в прессе в предшествующие годы<sup>5</sup>.

Коль скоро с катастрофой возникает спонтанная необходимость мобилизовать обширные ресурсы, это позволяет детально рассмотреть моменты, критически важные для изучения сущности Советского государства. Прежде всего, внезапное бедствие вносило разлад даже в

---

<sup>5</sup> Мицкевич решительно отделяет Горбачева от его предшественников. См. [Mickiewicz 1988: 136–137].

самый продуманный план, принятый к исполнению централизованной властью, создавая таким образом атмосферу импровизации как внутри самой коммунистической партии, так и вне ее. Советский Союз уже давно перестали воспринимать как статичное государство; историки показали – как в культурологическом, так и в социологическом отношении, – что в ходе советского эксперимента у граждан оставалась возможность формировать собственную жизнь<sup>6</sup>. Когда землетрясение разрушало город, тем самым у многочисленных архитекторов, трудовой молодежи, добровольцев, художников, сотрудников информагентств и прочих советских граждан возникали неожиданные шансы испытать жизнь, выходящую за привычные рамки. Подобные катастрофы – сами по своей природе спонтанные и неожиданные – пробуждали спонтанность и подстегивали рядовых граждан к неожиданным поступкам. Деятельным ли участием в восстановительных операциях или же пожертвованием в пользу пострадавших – так или иначе гражданин получал возможность действовать, не руководствуясь ординарными правилами советской жизни. Таковая возможность, конечно, появлялась не у каждого, однако любое бедствие практически всегда вызывало в обществе какое-то движение. Более того, характер реакции на катастрофы обуславливался также и политической обстановкой в тот или иной период советской истории. Таким образом, изучение реакции сталинского правительства – полностью отличной от реакции правительства брежневского – на, скажем, землетрясения дарит исследователю новый ракурс для понимания советского политикума в разные его эпохи. Внимательное исследование катастроф помогает развенчать миф о советском обществе как об организме статичном, едва ли обладавшем пространством для импровизации.

Несомненно, в той или иной части Советского Союза регулярно случались бедствия; из них я выбираю наиболее крупные и относящиеся к различным периодам, чтобы в их свете рассмотреть важные социальные, культурные и политические изменения, происходившие в советском государстве. В связи с этим в первой главе мы поговорим о самой сущности катастроф, чтобы затем поместить их в более широкий контекст. Таким образом, я покажу, как бедствия соотносятся с критически важными для интерпретации советской политики явлениями – с уязвимостью авторитарного строя, с восприятием времени, со словоупотреблением и с характером волонтерской работы в условиях принуждения. Далее будет тщательно рассмотрено большое крымское землетрясение 1927 года, когда еще не имевшее опыта в таких вопросах советское правительство тревожилось, что все побережье – крупнейший советский курорт – может уйти под воду. На закате НЭПа, когда экономика еще оставалась децентрализованной, основное бремя восстановления популярного туристического побережья взяли на себя местные представители правительства РСФСР. Если крымское землетрясение произошло еще до прихода к власти Сталина, то ашхабадское землетрясение 1948 года, практически уничтожившее город, пришлось на один из тяжелейших периодов советской истории. Город с населением около ста двадцати тысяч человек вмиг оказался в руинах, похоронивших под собой десятки тысяч [Кадыров 1990: 12–13]; подобных жертв не было ни при одном другом землетрясении в Советском Союзе. Разгоравшаяся холодная война обязывала СССР ревностно блюсти имидж могучей державы на внешнеполитической арене, так что определенные меры, конечно, были приняты, однако ни Сталин, ни его окружение никогда не использовали землетрясение в пропагандистских целях. После окончания Второй мировой войны у советского правительства и без того было множество хлопот по восстановлению инфраструктуры городов и промышленности, куда главным образом и направлялось большинство ресурсов. Подобная ограниченность принятых тогда мер резко контрастирует с грандиозной мобилизацией всех доступных ресурсов, брошенных в 1966 году на восстановление Ташкента.

---

<sup>6</sup> О социокультурных различиях см. [Lahusen and Kuperman 1993; Stites, von Geldern 1995; Clark 1981]. О жизни в советском провинциальном городе см. [Kotkin 1995].

В этом смысле хрущевский период оказался довольно удачным, поскольку тогда не случилось (за одним исключением) ни одного крупного природного или же рукотворного бедствия. Экономические решения, связанные с освоением целины, нанесли весьма ощутимый урон природе, уже изнемогавшей под гнетом развивающейся промышленности, однако ничего, что потребовало бы внезапной мобилизации советских ресурсов, так и не произошло. Конечно же, особняком здесь стоит ядерная катастрофа в Челябинской области на Урале, произошедшая в том же 1957 году, что и запуск первого советского спутника на орбиту. Реакция властей на катастрофу была чрезвычайно медлительной, а по причине известной болезненности темы ядерных испытаний в прессе о случившемся не писали. В итоге властям пришлось эвакуировать тысячи человек, а количество пострадавших от лучевой болезни составило еще более двухсот тысяч. Несмотря на то что на дорогах были установлены предупреждающие об уровне радиации знаки, сам факт катастрофы властям вскоре удалось скрыть [Медведев 2017].

Само собой, власть не в состоянии выбирать для реакции удобный момент, поскольку такое событие, как землетрясение или взрыв ядерного реактора, случается всегда внезапно. В апреле 1966 года прямо под Ташкентом произошли мощные толчки земной коры: спустя всего несколько месяцев после того, как крупнейшая столица Средней Азии оказалась в фокусе мировой дипломатии благодаря встрече глав Индии и Пакистана, землетрясением был уничтожен весь центр города. Партийные руководители – Л. И. Брежнев и А. Н. Косыгин – отреагировали молниеносно. В отличие от землетрясения в Ашхабаде, когда сталинское правительство предпочло по возможности дистанцироваться, не прилагая существенных усилий к восстановлению разрушенного города, в постхрущевскую эру советские власти осознали, что при помощи средств массовой информации катастрофу вполне можно превратить в событие, служащее прославлению коммунистических ценностей. Вся пресса страны освещала процесс восстановления Ташкента, подобно американским телеканалам, дающим регулярные сводки о подвигах какого-нибудь путешественника, отправившегося в годичную экспедицию. Словом, советские читатели регулярно получали сведения о ходе работ как из местной, так и из всесоюзной печати. Советский Союз славился грандиозными инженерными проектами, в том числе и по восстановлению пострадавших городов; Ташкент – один из ярчайших примеров того, как целый город был выстроен заново буквально с нуля.

Итак, ташкентское землетрясение 1966 года произошло в информационной среде, совершенно отличной от существовавшей в 1948 году. Спустя несколько лет после занятия поста Брежневым Л. В. Карелин написал роман, повествующий о работе съемочной группы во время ашхабадского землетрясения; несмотря на заявленную тему, достоянием общественности стала лишь весьма скудная визуальная информация касательно землетрясения в Ашхабаде [Карелин 1984]. Однако уже с шестидесятых годов телевидение и кинематограф начинали играть в советской жизни все более значительную роль. Все чаще выпуская в прокат более популярные и менее идеологизированные ленты, киностудии пытались приспособиться к переменам в информационном климате<sup>7</sup>. Во время Ташкентской конференции в январе 1966 года зрители со всех концов СССР наблюдали с телеэкранов виды Ташкента<sup>8</sup>. После же землетрясения руководство компартии вновь обратилось к помощи новых визуальных технологий<sup>9</sup>: уже в 1968 году на больших экранах вышел фильм М. К. Каюмова «Ташкент, землетрясение», давший советским гражданам возможность увидеть воочию последствия страшной катастрофы<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Например, «Кавказская пленница» Л. И. Гайдая, «Белое солнце пустыни» В. Я. Мотыля (Мосфильм, 1970), «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Вокзал для двоих» Э. А. Рязанова (Мосфильм, 1975 и 1982).

<sup>8</sup> *Lukas A. J. Old Uzbek City Is Enjoying a New Day in the Sun // New York Times. 1966. 1 October.*

<sup>9</sup> Ср. с описанием атмосферы строжайшей секретности в Китае после таншаньского землетрясения 1976 года: [Chen 2005].

<sup>10</sup> Ташкент, землетрясение. Реж. М. К. Каюмов. Киностудия документальных и научно-популярных фильмов Узбекистана, 1968. Фильм хранится в Российском государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД), № 20776.

Чтобы отдать должное фактору визуальных средств информации, после главы, посвященной землетрясению в Ташкенте, мы рассмотрим репрезентацию катастроф в кинематографе в целом. Пик такого рода кинопродукции пришелся на брежневскую эпоху, поэтому все эти ленты также стоит рассматривать в связи с ташкентской катастрофой. От упомянутого выше фильма Каюмова до множества короткометражных фильмов о страховании<sup>11</sup> и даже лент в голливудском жанре фильмов-катастроф – у кинорежиссеров нашлось немало подходящих для экранизации сюжетов. Возросшее число бедствий на теле- и киноэкранах в брежневские годы, с одной стороны, подспудно помогало советским гражданам спокойнее относиться к возможности будущих катастроф и вместе с тем явным образом было нацелено на слом общественного восприятия бедствия как в вымышленном мире, так и в реальном. Поскольку фото- и видеосвидетельства играют важную роль в историческом анализе, представляется абсолютно оправданным посвятить им отдельную главу.

Брежневские годы часто воспринимаются историками как эпоха стагнации, «застоя»: в особенности это касается их позднего периода, часто именуемого геронтократией. Вместе с тем в последнее время исследователи все пристальнее всматриваются в иные, более яркие и творческие аспекты тех лет [Bacon, Sandle 2002], что, в свою очередь, позволяет лучше понять и нынешнюю ностальгию по брежневской эпохе. Анализ событий в Ташкенте также позволит внести в обсуждение данной темы свой вклад, поскольку он продемонстрирует энергию и целеустремленность, с которыми государство выполняло намеченный план, равно как и возможности, открывавшиеся для советских граждан благодаря многочисленным восстановительным проектам. Ведь даже если само землетрясение продолжалось лишь считанные мгновения, тем не менее требующие немалой энергии восстановительные работы растягивались на долгие годы.

Понимание того, что принятые правительством в Ташкенте меры были вполне адекватными, выявляет связь между этим бедствием и более общими вопросами о сущности Советского государства. Если реакция властей в Ашхабаде оказалась весьма непоследовательной и даже хаотичной, несмотря на полностью «сталинское» государство, то как же Брежневу с Косыгиным удалось мобилизовать в Ташкенте столь мощные ресурсы и организовать их должное функционирование? Каким образом удалось Советскому государству столь повзрослеть, что даже подобная катастрофа не сумела выбить его из колеи? И если Чернобыль существенно поспособствовал краху сверхдержавы, то почему же Ташкент практически имел диаметрально противоположный эффект? Хотя за ташкентским землетрясением и последовали экономические проблемы семидесятых годов, в данном случае проявилась способность Советского Союза успешно – пусть и избирательно – реагировать на серьезные бедствия. Это вовсе не означает, что реконструкция города шла как по маслу, – проблемы возникали буквально на каждом шагу, – однако весьма скоро Ташкент был отстроен заново.

Брежневу удалось обратить разрушение в триумфальное возрождение; Горбачев же преуспел в этом в куда меньшей степени. На заре перестройки, примерно через год после его вступления в должность генсека, взрыв реактора четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС спровоцировал радиоактивную катастрофу мирового масштаба. Ведь если землетрясение всегда ограничено лишь конкретной территорией, то распространение радиации и возникновение высокого радиоактивного фона сделали эту катастрофу в своем роде уникальной. Чернобыль нес угрозу благополучию всего мира, что не позволяло решить проблему исключительно советскими силами; именно поэтому данная авария столь часто становилась предметом научного исследования. Уже спустя считанные месяцы после взрыва начали появляться работы, многие критические положения которых не потеряли с 1986 года актуальности и до сегодняшнего дня: неготовность советской власти признать факт трагедии, хотя уже было известно о круп-

---

<sup>11</sup> С 1960 по 1980 год по заказу Госстраха было снято более 50 подобных фильмов, пускавшихся перед основным сеансом. – *Примеч. пер.*

ной утечке радиации; проведение масштабной первомайской демонстрации в Киеве, несмотря на угрожающий радиационный фон; нехватка необходимой медицинской помощи жертвам и, наконец, намеренное преуменьшение опасности ситуации [Marples 1986: 115–180]. С началом же украинской независимости расследование аварии было фрагментировано между различными ведомствами, дабы результаты отражали выгодную молодому государству точку зрения. Внимание украинских исследователей было сосредоточено преимущественно на действиях Украинской академии наук и работе ликвидаторов, на всю жизнь пострадавших от сильнейшего облучения [Барановская 2001]. И по сей день Чернобыль остается темой политически чувствительной: бывший председатель Совета министров Н. И. Рыжков<sup>12</sup> – самый высокопоставленный из посетивших в 1986 году «зону» советских чиновников – оправдывает шаги советского руководства, считая, что лишь по-настоящему великой державе было бы по силам обуздать подобное бедствие [Рыжков 2011: 164–184].

Впрочем, Чернобыль зачастую рассматривали как уникальное происшествие. Ядерная энергетика, конечно, стоит особняком в контексте науки XX столетия, однако сравнительный анализ чернобыльской трагедии позволяет взглянуть на ситуацию в ином свете, а именно – продемонстрировать, сколь многое в раннеперестроечные годы заимствовалось из накопленного советского опыта, подчеркнув таким образом примат традиций над реформами. Сравнительный анализ хода восстановительных работ, компенсаций волонтерам, использования средств информации и роли научного сообщества выявляет в действиях Горбачева схожие с его предшественниками черты. И если, сравнив Чернобыль с Ташкентом, мы можем по-иному понять горбачевское время, тогда сравнение Ташкента с Чернобылем также позволит иначе понять и раннебрежневскую эпоху. Таким образом, подобная компаративная работа оказывается полезной вдвойне.

Использование сравнительной перспективы оказывается еще более плодотворным при разборе землетрясения в Армении, случившегося в декабре 1988 года, спустя чуть более двух лет после трагедии в Чернобыле. И если Чернобыль случился в ранние перестроечные годы, то землетрясение в Армении рушило целые города параллельно с сотрясением самих тектонических основ всего здания советской государственности. Отделенная от Чернобыля всего лишь парой лет, трагедия в Армении случилась в совершенно ином политическом климате: в феврале 1988 года выплеснулся на поверхность этнический конфликт между армянами и азербайджанцами; набирали обороты националистические настроения и в Прибалтике – к ноябрю того же года Эстония заявила о своем суверенитете; в целом в эпоху Горбачева весь восточноевропейский блок спешно отдалялся от советской орбиты [Suny 1993: 133, 141]. И вместе с тем для московских руководителей эти две катастрофы оказались глубоко взаимосвязаны, поскольку к концу 1988 года советские власти все еще разбирались с чернобыльскими последствиями.

Несмотря на значительную удаленность Украины от Армении, эти трагедии оказались взаимосвязаны и для местных властей: бригады украинских рабочих отправлялись на помощь в восстановлении армянских деревень, тогда как армянские рабочие и добровольцы помогали строить жилье для эвакуированных из Чернобыльской зоны. И хотя подобная помощь пострадавшей республике в целом укладывалась в принятую в советском государстве традиционную модель, как украинские, так и армянские власти видели в случившихся катастрофах возможность пересмотреть свои политические отношения с Москвой. Поскольку высокий уровень радиации все еще препятствовал возобновлению нормальной жизни на значительной части территории Украины, местные власти были сосредоточены главным образом на решении внутренних проблем. Государственная система оказалась чрезвычайно ослаблена из-за громадного количества ресурсов, потребовавшихся для преодоления последствий двойной катастрофы, и это позволило армянским властям обратиться за помощью к армянской диаспоре.

---

<sup>12</sup> После распада СССР – депутат Госдумы и член Совета Федерации РФ. – *Примеч. пер.*

Описанные катастрофы разделяют десятилетия, и вместе с тем они неразрывно сплетены между собой единой советской историей. Так, Чернобыль случился в двадцатую годовщину землетрясения в Ташкенте, а многие из участников восстановительных работ в Ташкенте помогали затем и в Чернобыле<sup>13</sup>. Чернобыльская авария напомнила о землетрясении 1927 года крымчанам, всколыхнув былые протестные настроения против строительства на полуострове АЭС. Однако, несмотря на недовольство местных жителей, партийное руководство настояло на продолжении возведения энергоблоков в сейсмически активном Крыму. Протестующие и ученые указывали на исторические примеры мощных подземных толчков. С учетом подобных пересечений, отдельное бедствие никогда не оказывалось обособлено ни во времени, ни в пространстве, всегда становясь новым аргументом в уже существующей полемике.

На колоссальной территории в двадцать два миллиона квадратных километров с поразительно разнообразными природными условиями за восьмидесятичетырехлетнюю советскую историю случались тысячи и тысячи бедствий. Подобные масштабы обязывают историка провести определенный отбор, дабы представить адекватный анализ влияния тех или иных катастроф на советское общество. Выборка, представленная в настоящей работе, была во многом обусловлена наличием источников: разбираемые в ней катастрофы документированы наиболее подробно. Конечно, существуют документальные свидетельства и менее крупных происшествий, однако подобные записи либо ограничиваются сугубо научной характеристикой феномена, либо же сосредоточены лишь на локальных последствиях случившегося. Источники задают исследованию направление, подталкивая к изучению наиболее густонаселенных районов; даже если бедствие произошло на обширной территории, наиболее значимые свидетельства о нем исходят из городских центров. Это, конечно, вовсе не удивительно – и в то же время, как мы увидим далее, таким образом (пусть и невольно) рассмотрение проблемы сводится в сугубо урбанистическое русло.

Ограничившись изучением катастроф в Крыму, Ашхабаде, Ташкенте, Чернобыле и Армении, можно провести глубокий анализ всех фактов, не упуская при этом из виду и небольшие населенные пункты вроде армянских деревень. Процесс восстановления после бедствия в крупном городе позволяет взглянуть практически на все социальные группы: на местную молодежь, интеллигенцию, рабочих, партийных функционеров – тогда как в ограниченных условиях небольшого населенного пункта подобный обзор был бы попросту невозможен. Журналы архитектурных объединений, местные газеты, протоколы заседаний ячеек комсомола, письменные жалобы партийному руководству, обсуждение подрядчиками хода работ, кино съемки, выполненные местными студиями, и множество иных источников позволяют рассмотреть ситуацию с множества различных сторон.

Подобно тому как Советское государство не могло предугадать место следующей катастрофы, историк также следует туда, где она уже произошла. И несмотря на некоторый элемент случайности, возникающий благодаря этому, плюс такого подхода в том, что анализ выходит за традиционные границы столиц – Москвы и Санкт-Петербурга (Ленинграда). В этом смысле весьма удобно, что пять глав, посвященных бедствиям в СССР, посвящены ситуациям в пяти различных республиках, что, таким образом, позволяет выявить специфические черты местной политической культуры.

Целью изучения вышеописанных бедствий отнюдь не является составление своего рода компендия, описи несчастий, обрушившихся на головы советских граждан; задачей данного исследования скорее является сфокусировать внимание на тех непредвиденных катастрофических ситуациях, которые позволяют лучше понять социополитические аспекты истории Советского Союза. Само собой, общая численность советских катастроф выходит далеко за рамки описанного в настоящей работе. Скажем, периоды голода – двадцатых годов, Голодомор начала

---

<sup>13</sup> Моисеева Л. Это 26 апреля // Трибуна энергетика. 1988. № 38. Окт.

тридцатых, в результате которого погибли миллионы украинцев, и так далее – остались в стороне не только потому, что подобные феномены заслуживают отдельного пристального изучения, но также и по той причине, что природа данных явлений была совершенно иной [Конквест 1988]. Вспышки голода являлись прямым следствием политики советского руководства, и едва ли подобное можно рассматривать в качестве некоего спонтанного и случайного происшествия. Советские города претерпели также катастрофические разрушения в ходе Второй мировой войны, однако данная тема уже неоднократно становилась предметом исследования [Qualls 2009].

Вместе с тем немаловажно, что в данном разборе будет уделено внимание и не столь крупномасштабным бедствиям: небольшие потрясения и катаклизмы также требовали определенной мобилизации сил – пусть и меньшего размаха, – что позволяет более полно исследовать историческую карту советских катастроф. Взрывы на предприятиях, крушения поездов или авиакатастрофы происходили – в государстве, одержимом техническим прогрессом, – куда чаще, чем хотелось бы его властям. Таким образом, некоторое внимание, уделенное и менее масштабным несчастьям, позволит проследить своего рода хронологическую преемственность по отношению к крупным катастрофам, своей тенью подчас заслоняющим не столь заметные события.

Порой крупные катастрофы даже называют в числе причин развала ослабевшей страны. Скажем, трагедию на Чернобыльской АЭС часто считают искрой, с которой начался разрушительный пожар, обрушивший Советское государство. Подобное положение весьма спорно; впрочем, справедливо и то, что в периоды бедствия все силы и слабости проявляются иначе, нежели в спокойное время. Ведь катастрофы не только нарушают привычные модели существования, но к тому же позволяют исследователю пристальнее – а подчас и с тревогой – взглянуться в функционирование Советского государства и в жизнь людей, его населявших. В ходе разбора бедствий того времени все отчетливее проявляется «случайная» природа советской жизни. Поскольку государство попросту не могло подготовиться к любым стечениям обстоятельств, во времена бедствий Советский Союз вмиг лишался всего своего привычного внешнего пафоса. Вместе с тем на основе кажущейся неадекватности государственной реакции не стоит немедленно переходить к обличению всей советской модели; в советском опыте следует скорее искать возможность проанализировать, как эволюционировал подход государства к бедствиям, а также какие решения – порой совершенно иные – предпринимали в тех ужасных обстоятельствах сами советские граждане.

Когда рухнул Союз, Мартин Малиа написал свою «Советскую трагедию» — книгу о лишениях и страданиях той эпохи, а также о трагическом небрежении советского руководства в отношении благополучия его граждан [Малиа 2002]. Да и история последующего периода подавала не слишком много поводов для оптимизма. Во все времена люди погибали под завалами или вынужденно оставляли свои дома, теряли близких и переселялись за тысячи километров от родных мест, страдали от неизлечимых заболеваний и оказывались вынуждены радикально изменить свою жизнь. Но за всеми этими трагическими историями можно разглядеть сложную палитру красок применительно к периоду, чересчур часто изображаемому лишь в черно-белых тонах.

## 1. Понятие бедствия

Катастрофы веками привлекали внимание писателей; также из века в век менялось и отношение к ним. Поскольку крупное бедствие серьезнейшим образом нарушало привычные социальные ритмы, к его объяснению подходили по-разному. Разрушительное землетрясение, случившееся в 1755 году в Лиссабоне, глубоко повлияло на мысль эпохи Просвещения. Вольтер в своей знаменитой «Поэме о гибели Лиссабона» [Вольтер 1988] выносит неутешительный вердикт людским возможностям при встрече с подобным несчастьем: никакое Проведение или высшее сущее не собирается оказывать человеку поддержку, сам же он тем более едва ли поможет себе, и зло так и будет вершиться в нашем мире. Но уже в следующем столетии появились новые научные дисциплины, такие как сейсмология, а также профессии, такие как инженер, – так что уверенное в собственных силах промышленное общество пришло к убеждению, что сумеет справиться и с крупным бедствием. Новое государство XIX столетия – с целым штатом бюрократов-профессионалов – взяло на себя обеспечение безопасности своих граждан, хотя далеко не всегда могло взятые им обязательства выполнить. Данная модель переключалась и в XX столетие, что выразилось в укреплении фундаментов зданий на случай землетрясения, контроле над заливыми лугами и т. д. Ярким примером масштабного инженерного проекта по предотвращению наводнений является бетонирование русла реки Лос-Анджелес в начале 1930-х годов.

Таким образом, катастрофу можно рассматривать под разными углами. Ниже я постараюсь объединить все эти углы в сравнительную перспективу, а также сопоставить их с другими темами, возникающими в контексте советской истории. Уделяя особое внимание государственной власти, в нижеследующих параграфах я дам обзор социологических концепций роли государства, а также постараюсь показать, что действия советского руководства не были характерны исключительно для коммунистической державы, а имели немалое сходство с практиками, принятыми в либеральных странах. Своя специфика, конечно, присутствовала, однако в целом советские власти действовали вполне традиционно, как не были чем-то из ряда вон выходящим и сами бедствия. Размышляя о катастрофах в абстрактном ключе, чрезвычайно важно принимать во внимание, каким образом они оказывались вплетены в социально-культурное полотно советского общества и различных его элементов. Советское время и советский лексикон всегда оставались предметом пристального изучения, и представляется чрезвычайно любопытным сопоставить с этими двумя феноменами катастрофы. К примеру, изучая катастрофы, можно увидеть, как люди воспринимали время, и ознакомиться со словоупотреблением, выходящим за рамки избитых штампов *hors texte*<sup>14</sup> и прочих языковых манипуляций, – скажем, проследить, как от бедствия к бедствию сдвигалось значение идеи и лозунга о «дружбе народов». Повсюду в Советском Союзе предполагалось, что в результате катастрофы граждане включатся в активную волонтерскую работу. Впрочем, использование термина «волонтер» в данном контексте, конечно, довольно спорно, а злые языки и подавно тут же спросят: «Возможна ли вообще добровольческая деятельность в условиях государственного принуждения?» И тем не менее изучение бедствий позволяет пристальнее взглянуть на решения людей, включавшихся в волонтерскую деятельность. Ведь тот или иной выбор человека, даже если он не совпадает с идеализированными представлениями о доброй воле, тем не менее подразумевает некий круг возможностей, доступных гражданам в момент, когда необходимо принять важное решение. И наконец, крупные бедствия выявляют различия городского и сельского контекстов советской жизни. Означенные моменты будут – в том или ином аспекте – всплывать на протяжении всей этой книги.

---

<sup>14</sup> «Вне текста» (*фр.*), то есть нечто, разумеющееся откуда-то еще.

Если современное государство не могло предотвратить катастрофу, ему следовало научиться на нее реагировать. Еще в сороковые годы П. А. Сорокин выдвинул предположение, что бедствия провоцируют государство на тоталитарное поведение: «В ответ на войны, эпидемии, наводнения, землетрясения, разрушительные взрывы или пожары и тому подобные бедствия, государственный контроль тут же ожесточается, проявляясь в форме законов военного, осадного или иного чрезвычайного положения» [Сорокин 2012: 99]. Далее Сорокин описывает авторитарные действия канадского правительства в 1917 году, после взрыва в Галифаксе, уничтожившего большую часть города. Схожий тезис отстаивали Андреас Ранфт и Штефан Зельцер в сборнике статей, посвященных восстановлению городов после бедствий. Они выявляют совпадение этих периодов с интенсивной бюрократической деятельностью [Ranft, Selzer 2004: 24]. Однако, вопреки теориям о тоталитарных аспектах бюрократической реакции на бедствие, катастрофы оборачивались наименее авторитарными моментами советской истории, позволяющими увидеть несобранность авторитарного государства. То есть сорокинский тезис в данном случае можно перевернуть: не слабо организованный парламентский строй обращается к авторитарным мерам, а авторитарное государство вынуждено прибегать к мерам, его авторитарный характер ослабляющим.

Общим местом в исследовательских работах было рассмотрение катастроф в качестве дискретных событий в истории того или иного общества. Так, в своей книге «Когда планета гневается» Чарльз Оффисер рассматривает крупные извержения вулканов и землетрясения вроде того, что в 1755 обратило в руины Лиссабон [Officer 2009]; однако же взаимосвязи местных культурных практик и разрушительной стихии его анализ обходит стороной. Прямо противоположным образом рассуждает Кеннет Хьюитт: подавляющее большинство стихийных бедствий, говорит он, являются характерными – а вовсе не случайными – чертами общества, в котором они произошли [Hewitt 1983: 25]. Фридрих Ницше абсолютно спокойно воспринял наводнение, разразившееся во время «полной опасности для жизни» поездки из Швейцарских Альп в Турин для окончания «Сумерек идолов» [Ницше 2009: 268]. А если обратиться к швейцарской литературе, то можно найти многочисленные упоминания о частых оползнях в Альпах [Utz 2013: 115–148]. В европейской части России наводнения и вовсе воспринимались как заурядное природное явление, подобно снегу зимой: в «Преступлении и наказании», услышав, что петербургские пушки возвещают о наводнении, Свидригайлов едко прохаживается по местной традиции «среди дождя и ветра <...> ругаясь перетаскивать свой сор в верхние этажи» [Достоевский 1973: 392]. Таким образом, вполне понятна, к примеру, реакция императора Александра I на грандиозное наводнение, случившееся в 1824 году в Санкт-Петербурге – подобные природные явления не были для России в диковинку. В деревнях и селах крестьяне свыклись как с чем-то вполне естественным с постоянными паводками, а служебные записки императорских чиновников пестрели упоминаниями наводнений и пожаров. Как объясняет Касс Санстейн, *«люди куда легче уживаются со знакомым им риском, чем с незнакомым – даже если статистически таковые являются абсолютно эквивалентными»* [Sunstein 2005: 43] (курсив оригинала). Так, взрыв метана где-нибудь в шахте на востоке Украины – лишь неприятная часть работы шахтера. Бедствие не есть нечто неожиданное и кратковременное, но напротив – оно является органической геокультурной составляющей, с которой люди уживаются и учатся справляться. Землетрясение в Средней Азии было чем-то непредвиденным лишь в том смысле, что местные жители не могли с точностью сказать, когда оно случится; то, что оно рано или поздно случится, понимали все. Подобные соображения побуждают нас связать между собой разрозненные бедствия и попытаться изучить модели поведения людей как до, так и после того или иного из них.

Практически одновременно с книгой Хьюитта в свет вышла также и знаменитая работа Ульриха Бека об «обществе риска» [Бек 2000]. Бек стремился перевести обсуждение в новое русло – подальше от устаревших направлений анализа. Он видит в риске фундаментальную

категорию всякого социального противостояния, утверждая, что отношение общества к риску, как и все сопутствующие попыткам его снизить социальные неурядицы, обнаруживает наиболее серьезные болевые точки современности. У себя на родине, в Германии, Бек наблюдал, как кислотные дожди уничтожали баварские леса и, невзирая на геополитические границы, отправлялись затем бичевать и иные земли, подтверждая тем самым тезис о глобальном характере риска [Бек 2000: 26]. Пусть и более педантично относясь к научным данным, чем Хьюитт, Бек все же рассматривает рукотворные катастрофы с точки зрения социологии, желая увидеть влияние такого рода событий на те или иные социальные группы. Так, говоря о Вилла-Паризи – бразильском городке с чрезвычайно грязным химическим производством, Бек замечает: «*Дьявол голода пытаются победить с помощью Вельзевула накопления рисков*» [Бек 2000: 51] (курсив оригинала). Нищие страны готовы ставить на кон жизни собственных граждан, уповая на то, что богатые западные компании вроде «Union Carbide» в конце концов вложатся в модернизацию их обветшавших городов. Подобно Хьюитту, Бек прекрасно понимал, что для полного понимания сути бедствия следует взглянуть на него, выйдя за рамки привычной западной науки.

С того времени появился целый ряд научных работ, исследующих катастрофы на локальном уровне и последствия подобных потрясений для переживших их. К примеру, в 2002 году Энтони Оливер-Смит опубликовал статью об антропологии бедствия, в которой – с оглядкой на положения как Хьюитта, так и Бека – описал понятие уязвимости. Он утверждал, что многие катастрофы, причины которых традиционно относят к «натуральным и стихийным, весьма вероятно, являются хотя бы отчасти следствием деятельности человека – как в конкретном обществе, так и на всем протяжении существования человечества в целом» [Oliver-Smith 2002: 32]. То есть дело не только в слабости человека пред лицом природы, но также и в системной слабости внутри общества: в расслоенных обществах наблюдается столь же расслоенный опыт переживания бедствия. В связи с этим, конечно, нельзя не упомянуть и работу Марка Эли об азербайджанцах во время землетрясения в Армении в декабре 1988 года, одной из центральных тем которой стало именно расслоение общества (в данном случае – этническое) [Elie 2013]. В ином свете Оливер-Смит рассматривает уязвимость перед таким надвигающимся бедствием, как неизбежное затопление дома, когда мощная гидроэлектростанция запрудит речное русло: подсчеты компенсации в подобных случаях всегда основываются на неких усредненных показателях и стандартах, вовсе не принимающих во внимание «крушение местной общины или утрату культурных и духовных ресурсов» [Oliver-Smith 2010: 146].

Схожего подхода придерживался и Эрик Клиненберг, когда изучал аномальную жару, поразившую Чикаго. Социологическое исследование Клиненберга, в котором особое внимание уделяется людям старшего поколения, показало, что чикагскую жару стало возможно категоризировать в качестве бедствия исключительно в результате тогдашних муниципальных порядков, ввиду которых помочь наименее мобильным гражданам было практически невозможно: к примеру, живя по соседству с наркопритоном, пожилые люди опасались покидать свои дома и, как следствие, часто не имели возможности получить никакой помощи извне [Klinenberg 2002]. Кроме того, опасность ситуации для пожилых мужчин (в сравнении с женщинами) также повышали их социальные привычки, вроде нежелания выказывать слабость. Социологический подход Клиненберга вдохновил многочисленных исследователей на изучение непосредственного опыта небольших сообществ. Если советские бедствия, к которым в настоящей работе обращаюсь я, преимущественно поражали города, то Жан-Кристоф Гайар и Вирджиния Ле Массон в своем исследовании рассматривают отдаленные горные деревушки, стремясь выяснить, каким образом реакция на бедствие оказывается обусловлена социальными факторами [Gaillard, Le Masson 2007]<sup>15</sup>. Очевидно, что основное внимание они при этом уделяют не уче-

<sup>15</sup> См. также [Oliver-Smith 1986].

ным и не крупным фигурам из деловых или политических кругов. И хотя советская история не всегда позволяет столь же пристально взглянуть в жизнь отдельного человека или небольшого сообщества, схожие темы будут так или иначе всплывать и в данной работе.

Все описанные подходы к пониманию бедствия чрезвычайно значимы и в целом направлены на подчеркивание неравенства в положении разных людей, а также на преодоление гордыни, остававшейся столь неотъемлемой частью жизни западного общества на протяжении всего предыдущего столетия. И конечно, что естественно, они направлены и на преодоление гордыни, возвращенной руководством советской страны. Впрочем, не все теории бедствий непременно носят негативный характер; исследователи также отмечали и позитивные стороны «своевременной» катастрофы. К примеру, в работе о большом гамбургском пожаре 1842 года Дирк Шуберт утверждает, что в итоге случившееся спровоцировало архитектурное обновление города, а также повлекло за собой ряд реформ широкого профиля, выходящих далеко за пределы простой реконструкции пострадавших зданий. В пожаре «обнажились глубинные нестроения» системы городского управления, и, несмотря на то что для преодоления непосредственных последствий пожара радикальных реформ не требовалось, отцы города пригласили британского инженера Уильяма Линдли, чтобы по его проекту расширить улицы и обеспечить город должной канализационной, противопожарной и транспортной системами [Schubert 2012: 221]. По сути Шуберт указывает на «улучшение жизни города» [Schubert 2012: 227]. Несомненно, стоит с известной настороженностью подходить к оценкам, преисполненным чрезмерного оптимизма, и вместе с тем – о чем и напоминает нам работа Шуберта – не следует закрывать глаза и на сопутствующие бедствиям положительные моменты. Так и советские катастрофы, конечно, никогда не сулили светлого будущего, однако довольно часто оказывалось, что в их результате отдельным людям или целым группам удавалось добиться тех или иных улучшений.

Итак, раз бедствие можно лишь с рядом оговорок отнести к дискретным событиям в продолжительной культурной траектории, то как же тогда следует понимать смысл события как такового? Сколько оно длится? Кто или что его начинает, а затем определяет момент его окончания? В работе, посвященной националистическим движениям в Советском Союзе, Марк Байссингер тщательно разрабатывает тему роли события в качестве катализатора взрыва национализма. Щедро черпая вдохновение из работ Ханны Арендт и Мишеля Фуко, он категоризирует тип действия, относящийся к событию. Событие – это отнюдь не пассивное явление, оно всегда бывает бурным, подчас даже революционным. Байссингер говорит, что события – это «спорные и потенциально подрывные акты, бросающие вызов стандартизованным практикам», и далее: «События – это целеполагающие формы действия, чьи исполнители стремятся не воспроизвести, а преобразовать, низвергнуть или же сменить то, что – в отсутствие события – остальные воспринимают как должное» [Beissinger 2002: 14–15]. Подобной дефиницией повседневные занятия отделяются от подрывных (и прорывных) действий и напитывают энергией тех, кто решился взяться за эти последние.

Если речь идет об описании националистических движений на закате Советского Союза, данное определение обладает явными достоинствами; вместе с тем очевидным его ограничением является то, что всякое чрезвычайное событие должно в этом случае иметь своим истоком действия отдельных людей. Иными словами, произошедшее в Чернобыле тогда нельзя определить как событие, если только некто намеренно не организовал ядерную катастрофу. За исключением советской судебной системы, усердно выискивавшей козлов отпущения, повинных в трагедии, мало кому пришлось бы в голову искать некий умысел, говоря о Чернобыле. Иными словами, антропоцентрическая дефиниция *события* приписывает его сознательной деятельности человеку, сокращая в своего рода политическом уравнении внешние факторы вроде природных условий. И несмотря на отсылки к Фуко, подобное отношение к событиям явно восходит к просвещенческой мысли, поскольку действия рационального (читай – целе-

устремленного) человека в этом случае превосходят влияние естественных условий, его окружающих.

С противоположной же точкой зрения проблемы начинаются в тот момент, когда бедствие подается в качестве научно определяемого эпизода или же события естественной истории. Научная хронологизация подразумевает дискретность любых действий – скажем, конкретного момента начала землетрясения. Однако же, как и в спорной философской идее о «настоящем» как единственном реальном моменте времени, при понимании события как чего-то единомоментного остаются за рамками долгоиграющие социальные и культурные аспекты этого феномена. Конечно, можно сказать, что чернобыльский реактор взорвался в определенный момент времени, астрономически вполне определяемый исходя из тогдашнего расположения звезд, а на фотографиях из Ташкента запечатлены часы, по которым можно судить о времени, когда случилось землетрясение. Однако бедствия вовсе не обязаны быть синхронны с какими-то научно установленными единицами времени. Как замечает Хьюитт, склонность относить стихийные бедствия к событиям отделяет их от человеческого опыта, подобно тому как дефиниция Байсингера отделяет человека от окружающей среды. Таким образом, если мы и дальше будем говорить о событиях, нам следует понимать окружающую среду как действующую в тандеме с человеком, а сами события понимать как нечто если и не вполне длительное, то хотя бы имеющее некую протяженность.

Несмотря на то что лингвистический поворот и его дериваты вроде *Begriffsgeschichte*<sup>16</sup> отодвинули в тень классическую этимологию, она все же вполне может играть в определении понятий весомую роль. Так, термин «событие» – в западных языках<sup>17</sup> – имеет те же латинские корни, что и слова *venire* (приходить) и *ventus* (ветер), а также испанское *ventana* – аналог английского *window* – окно, родственного, в свою очередь, современным немецким *Wind* – ветер и, возможно, *Wende* – поворот. (А если совсем углубиться в лингвистические игры, то немецкий глагол *wenden* и сам уже указывает на катастрофу, восходя к древнегреческому *καταστροφή* [Briese, Günther 2009: 157].) Слова, происходящие от *ventus* и *venire*, зачастую обозначают нечто связанное с воздухом (вентилятор) и в целом с движением (*конвенция* – соглашение, «схождение» в понятиях, *адвент* – пришествие). Ведь технически и *window*, и *ventana* описывают не столько препятствие движению воздуха или же проем в стене<sup>18</sup>, сколько как раз это движение – скажем, ветра, – через него осуществляющееся. Мысля событие как нечто текучее, мы увидим его как нечто вездусущее и протянувшееся на длительном временном отрезке. Событие – не изолированный момент времени, некое, скажем, восстание или протест, длительность которых можно легко измерить, но длинная цепочка взаимосвязанных явлений.

В своем исследовании о чикагской жаре 1995 года Эрик Клиненберг придерживается как раз описанного выше подхода. Комиссия, впоследствии назначенная мэром Чикаго, заключила, что «данная жара являлась уникальным *метеорологическим событием*»<sup>19</sup>. Клиненберг же утверждает, что та жара на самом деле не была единичным событием, доступным для научного анализа; напротив, он понимает город как «сложную социальную систему интегрированных институций, многократно и разнообразно соприкасающихся и взаимопроникающих» [Klinenberg 2002: 22]. Дополняя сказанное тезисом о том, что эти «институции склонны давать о себе знать именно в периоды наибольшего стресса и кризиса», Клиненберг высвобождает катастрофу из-под институционального контроля, давая возможность расслышать

<sup>16</sup> «История понятия» (нем.). – Примеч. пер.

<sup>17</sup> *Event* в английском, *événement* во французском, *evento* в итальянском и испанском и так далее. Ср. недавнее появление «ивента» и в русском языке. – Примеч. пер.

<sup>18</sup> То есть «технически» как раз то, что описывается русским словом «окно» – «зрячее за событием», «око дома». – Примеч. пер.

<sup>19</sup> Цит. по: [Klinenberg 2002: 16] (курсив мой). См. также [Steinberg 2000].

слабый голос отчужденных и пренебрегаемых и высветить социологическую многослойность так называемых стихийных бедствий [Klinenberg 2002: 23]. Большое число жертв в Чикаго было обусловлено не только зашкаливающими показаниями термометров, но также и хроническими недомоганиями социальной экосистемы. Доступных данных по советским катастрофам на порядок меньше, чем было в распоряжении Клиненберга, однако его методология явно позволяет рассматривать землетрясения, не ограничиваясь рамками заявлений советских сейсмологов. Советское государство проявляло себя не через ученых, а через рабочих, посланных восстанавливать пострадавшую область; через юных комсомольцев, призванных вдохнуть новую жизнь в старые города; а также через сообщения государственных средств информации.

В американской литературе примером подобной интерпретации нормы как чего-то уникального является «Волшебник страны Оз» [Баум 2006]: ураган – вполне обыденное на американском Среднем Западе метеорологическое явление – преобразуется в книге в событие морального порядка. И хотя ураган по сюжету оказался фантастическим – ведь он заносит героев в волшебную страну, – само по себе это явление в тех местах не более необычно, чем платяной шкаф в спальне или страшная метель из пушкинской повести. История, конечно же, вскоре уводит читателя прочь от социальных условий, сопутствовавших разразившемуся урагану, что вовсе не отменяет ряда общих черт при описании самого явления<sup>20</sup>. Сходным образом, и советская история также богата катастрофами и несчастными случаями, происходящими на фоне повседневной жизни граждан страны. В самом начале тридцатых годов М. М. Зощенко пишет рассказ о пьянице, проспавшем все землетрясение под кипарисом, проводя параллель между стихийным бедствием и совершенно обыденным и привычным явлением пьянства [Зощенко 1978].

При этом было бы, конечно же, чересчур опрометчиво выводить из привычности ураганов на Среднем Западе или землетрясений в Крыму отсутствие принципиальной разницы в масштабах бедствия. По счастью, тут вполне можно обойти скользкую дорожку релятивизма. Ведь из того, что ураган – явление предсказуемое, вовсе не следует, что он, будучи достаточно сильным, не напугал, не шокировал или не удивил местных жителей. И однако же весьма часто более масштабные бедствия описываются как нечто уникальное. Нортриджское землетрясение 1994 года, к примеру, обернулось куда большими разрушениями, чем все предыдущие, более слабые подземные толчки; вместе с тем невозможно понять эти события без упоминания о том, что жители Лос-Анджелеса имеют дело с землетрясениями постоянно – будь то учебные тревоги или же новая трещина, пробежавшая по стене дома от очередного толчка<sup>21</sup>. Несомненно, следует с должным почтением относиться к крупным бедствиям, но нельзя также забывать и о менее масштабных.

Помимо уточнения нашего понимания сущности события, бедствие также позволяет лучше понять, что такое время. Историки теперь стали более чуткими к гибкости понятия времени, перестав изображать его своего рода монолитно застывшей сущностью, находящейся вне рамок человеческих переживаний. Когда-то Норберт Элиас отметил, что исторические личности вовсе не переживали время в виде «ровного, плавного и непрерывно текущего потока» [Elias 1992: 39]. В классической работе Алена Корбина о церковных колоколах во французских деревнях XIX столетия религиозные маркеры времени сопоставляются со звоном: физический акт колокольного звона в определенное время оказывался неким образом связан с целым комплексом социальных символов и практик, которые этот звон вызывал [Corbin 1998]. Если соединить принцип относительности Эйнштейна с современными пред-

---

<sup>20</sup> Так, Аллен Бартон начинает свой классический труд об обществе в период бедствия с описания урагана, произошедшего в Арканзасе в 1952 году. См. [Barton 1969: 3–10].

<sup>21</sup> Герой казахского кинофильма «Ангел в тубетейке» (реж. Ш. К. Айманов, 1968 год, киностудия «Казахфильм») роняет на пол тяжелую гирю, на что разбуженный сосед снизу, видя трясущуюся на потолке люстру, тут же восклицает: «Землетрясение!»

ставлениями о социальном конструировании реальности, тогда в отношении тех или иных событий само время делается относительным. В истории науки бывало так, что историки оспаривали объективность проведенных научных экспериментов, ввиду того что ученые, их проводившие, пользовались такими социально сконструированными устройствами, как часы [Herbert 2001: 172–173]. И пусть в подобном заключении довольно грубо игнорируются базовые практические элементы теории Эйнштейна, в нем все же акцентируется внимание на важности времени не как абсолютной ценности, отражающейся на циферблате часов, но скорее как одного из социальных лоскутов, из которых сшивается ткань нашего общества и чье значение способно меняться в зависимости от обстоятельств. В контексте советской истории Стивен Хэнсон подробно исследует связь времени и революции у коммунистических вождей [Hanson 1997]<sup>22</sup>.

В описании землетрясений комментаторы часто любят указывать на уличные часы, время на которых замерло навсегда. Само собой, механическая поломка настенных часов не означает остановки времени, так что подобные указания носят чисто метафорический характер. Аналогичным образом, замершие стрелки этих часов не означают, что и все наручные часы в округе также перестали показывать время. Из контраста между остановкой времени на городских часах и непрерывным ходом наручных можно понять, как восприятие времени связано со сферой общественной и личной. Ведь если централизованное государство предпочитало считать, что время измеряется именно общественными часовыми механизмами – активно продвигая данную концепцию и в периоды катастроф, – то наручные часы вовсе не обязательно оказывались связаны с подобным представлением о времени. Поэтому сама идея времени обещает открыть весьма интересные перспективы в нашей попытке понять стратегии действий авторитарного государства и людей, в нем живших.

В Чернобыле временной сдвиг произошел в угоду научной характеристики катастрофы. Радиационный фон, распространившийся сразу же после взрыва, ничуть не повредил часовые механизмы на улицах Припяти – города, выстроенного специально для проживания работников АЭС. В окружающих атомную станцию поселениях ход времени – неважно, определяемый по солнцу или же по советским часам, – продолжался как ни в чем не бывало. И вместе с тем отсчет времени после трагедии осуществлялся уже в научном ключе, основываясь на периоде полураспада радиоактивных элементов. Абстрактная идея полураспада<sup>23</sup> вводила в обиход научное – и совершенно чуждое местным жителям – измерение времени.

Говоря о роли времени, весьма соблазнительно коснуться также и его дискурса: ведь очевидно, что люди о времени говорили, употребляли те или иные обороты и выражения для его категоризации. И все же не следует преувеличивать связь языка и времени. Визуальный опыт узнавания времени по настенным, наручным или каким бы то ни было еще часовым устройствам совершенно отличен от того, каким образом время выражается в грамматике русского языка. Как известно из когнитивной лингвистики, язык ведет собственную игру со временем, так что если историк собирается говорить о дискурсе времени, то прежде, чем делать какие-либо серьезные выводы, ему следует внимательно понаблюдать за временами и видами глаголов – поскольку напыщенного постмодернистского указания на «границы языка» тут будет попросту недостаточно<sup>24</sup>. Иначе говоря, без проведения обширных лингвистических изысканий нет никаких серьезных оснований утверждать, что землетрясение или взрыв ядерного реактора изменили грамматическую репрезентацию времени.

<sup>22</sup> Хэнсон проводит различие рационального и харизматического времени; суть этого последнего состоит в том, что лидер оказывается выше обыденных представлений о времени, а потому он вправе преобразовать и упорядочивать события.

<sup>23</sup> «Полужизни», англ. *half-life*. – Примеч. пер.

<sup>24</sup> Подробное объяснение категории глагольного вида и различий между совершенным и несовершенным видами см. в [Comrie 1993]. См. у него же работу *Tense* — о глагольных временах. О тонкостях и нюансах русского языка в двадцатом столетии см. сборник [Comrie, Stone, Polinsky 1996].

Глагол совершенного или несовершенного вида остается тем же, что и был, вне зависимости от того, прилагает ли государство усилия к тому, чтобы поставить время себе на службу. И конечно, упоминание о дискурсе времени подводит нас к теме общего отношения к языку в советской историографии<sup>25</sup>, где, в особенности в тридцатые годы, часто утверждалось, что Советское государство, обуздав язык, тем самым преодолело барьер, разделявший прежде личное и общественное. Государственная риторика, включавшая такие выражения, как «враг народа», царила повсюду – как в частной, так и в публичной жизни людей, вполне эффективно ограничивая способность мыслить иначе, чем принято.

Как с эмпирической, так и с теоретической точки зрения тезис о том, что Советское государство контролировало язык, а потому граница между частным и публичным была размыта, зиждется на чрезвычайно узком понимании языка, при котором становится сложно так или иначе ассоциировать его с бедствиями. Язык состоит не только из используемых в нем слов, но и из их разнообразных сочетаний, которые мы в своей речи изобретаем и конструируем посредством грамматических возможностей, присущих тому или иному языку. Так, к примеру, плагиат распознается именно за счет очевидности факта, что люди крайне редко пишут совершенно идентичные предложения, пусть и для выражения одной и той же идеи. Точно так же на основе пары-тройки выражений едва ли можно утверждать, что государство контролировало язык. Ведь всякий гражданин, умевший сказать «враг народа», средствами того же языка мог сказать и обратное – «не враг народа». Как в английском, так и в русском языке грамматически любую фразу всегда возможно превратить в ее же отрицание (так что всякий заявлявший о своей любви к Сталину вполне обладал лингвистическими средствами и для заявления о своей нелюбви к нему). И даже если самому говорящему никогда не приходило в голову произнести отрицательную фразу, дело было вовсе не в языке. Многие современные лингвистические исследования подчеркивают социальную значимость языка, однако не в ущерб частной сфере. Можно вспомнить знаменитое утверждение Людвиг Витгенштейна в «Философских исследованиях» о том, что такой вещи, как «индивидуальный» язык, не существует. Он, впрочем, вовсе не подразумевает, что у человека не может быть секретов или независимых мыслей [Витгенштейн 2010: 140, 144–146]. Иными словами, словесные характеристики бедствий были, несомненно, важны, однако – как мы вскоре увидим – не до такой степени, чтобы полностью размыть границу между публичной и частной жизнью.

Несмотря на описанные выше ограничения, с помощью лингвистики можно обрисовать некоторые контуры, помогающие понять сущность катастрофы. В русском языке – как в советское время, так и в наши дни – существует различие между внезапным природным явлением и несчастьем, произошедшим вследствие человеческих действий. Конечно, носитель русского языка может отзываться о случившемся так, как ему заблагорассудится, но наиболее употребительными являются два понятия: первая ситуация характеризуется как *стихийное бедствие*, вторая же – как *авария*<sup>26</sup>. Стихийное бедствие – как явствует из названия – это действие природной стихии, неконтролируемое и зачастую внезапное, вроде землетрясения или наводнения. Что примечательно, корень – *стих-* в слове *стихийное* роднит его со *стихотворением*<sup>27</sup>:

<sup>25</sup> О роли языка в советской истории см. [Half n, Hellbeck 1996]. См. также введение в [Hellbeck 2006].

<sup>26</sup> В английском языке различаются понятия *disaster* (бедствие, катастрофа) и *emergency* (чрезвычайная, аварийная ситуация). Деннис Венгер отмечает: «В отличие от “бедствия”, “аварийная ситуация” не отображает стадию полномасштабного кризиса. В подобных случаях имеют место события, требующие реакции традиционных структур управления; однако должным образом регламентированные системы антикризисного управления при помощи отработанных механизмов способны адекватно на эти события реагировать». К примеру, местная пожарная служба способна отправить команду тушить загоревшийся дом, но для тушения лесного пожара потребуются уже иные службы и меры. См. [Wenger 1978: 27]. Аллен Бартон определяет бедствие как «часть более широкой категории *коллективных стрессовых ситуаций*. Коллективная стрессовая ситуация возникает тогда, когда *многие члены социальной системы не получают от нее ожидаемых условий жизни*», см. [Barton 1969: 38] (курсив оригинала).

<sup>27</sup> По меньшей мере до XVII века слово «катастрофа» в английском и французском языках носило театральные и поэ-

сам этот корень передает настроение, подразумевающее ритмическую изменчивость поэзии. В контексте катастрофы в выражении *стихийное бедствие* можно увидеть не только конкретное природное явление, но также ритм и рифму, предполагающие тем самым некоторую регулярность данного феномена<sup>28</sup>.

*Авария* же, в отличие от природного *бедствия*, описывает именно рукотворную проблематичную ситуацию<sup>29</sup>. О случившемся в Чернобыле, к примеру, также лингвистически говорили как об *аварии*, таким образом увязывая эти события с трагедиями в угольных шахтах, серьезными дорожно-транспортными происшествиями и прочими подобными несчастьями<sup>30</sup>. Официальные лица тогда пытались оспаривать уместность подобного определения. Так или иначе, побыв какое-то время *аварией*, Чернобыль – по мере того как политическая структура Советского Союза расшатывалась все сильнее – под давлением общественности начал именоваться *катастрофой*<sup>31</sup>.

Понятие *Катастрофа* в советском лексиконе также обладало довольно специфическими коннотациями. Это слово пришло в русский язык из французского на заре XIX столетия, так что его этимологическая история здесь оказалась куда короче, чем во Франции или Германии. Впрочем, и без давней истории употребление термина *катастрофа* всегда было точечным и довольно специфическим. В Советском Союзе лишь немногие события могли удостоиться подобного определения: *катастрофой* вполне могла быть кровопролитная война, но вряд ли стихийное бедствие. Все средства массовой информации имели по этому поводу строгие инструкции, ведь катастрофы – в отличие от стихийных бедствий – ассоциативно чересчур близко связаны с человеческими жертвами, пожарами на промышленных предприятиях и в целом с трагедиями, причиненными непосредственными человеческими действиями. Еще более широкое – и даже вызывающее – значение понятие *катастрофа* приобрело в эпоху горбачевской гласности: стало возможным писать уже не только об «экономической катастрофе», но и о катастрофах, связанных с окружающей средой, – и, конечно же, о катастрофе в Чернобыле [Меньшиков 1990; Орешкин 1990]. Пожалуй, можно даже сказать, что слово «катастрофа» тогда вошло в моду.

Подобное лингвистическое различие *стихийного бедствия* от *аварии* было в какой-то степени преднамеренным, о чем свидетельствует реакция компартии. Ведь некое спонтанно случившееся несчастье не потребовало бы от нее искать виновников; напротив, такое несчастье скорее стало бы свидетельством воли и стойкости, проявленных в борьбе с разбушевавшейся стихией силами прогресса, подвластными коммунистическому государству. В случае же *аварии* – нормативно – ничего преодолеть не требовалось; при *аварии* достаточно было установить причину ее возникновения<sup>32</sup>. Что бы ни стряслось в этом роде – автобус ли упал с моста или же в Чернобыле взорвался реактор, – партия всегда находила необходимого в таких случаях козла отпущения. И хотя характер мер, принятых относительно *стихийного бедствия*

тические коннотации. См. [O’dea 2008: 36–37]. Подробное исследование этого понятия в германских языках см. в [Briese, Günther 2009].

<sup>28</sup> См. у Даля в «Толковом словаре живого великорусского языка» (статья «Беда»): «Бедствие более относится к известному случаю: неурожай, повальные болезни, бури, наводнения [и иные] бедствия» [Даль 1956, 1: 151]. См. также статью «Стихия» [Даль 1956, 4: 325].

<sup>29</sup> Эллен Мицкевич говорит, что о землетрясении 1985 года в Кайраккуме (Таджикистан) писали как об *аварии*. Данное утверждение представляется в высшей степени сомнительным, однако если все так, то это – один из весьма редких примеров подобного словоупотребления. См. [Mickiewicz 1988: 137]. Потенциально уникальный случай имел место в 1980 году: в обзоре на одну киноленту рецензент в одном и том же предложении употребил слова *авария*, *стихия* и *катастрофа*. Такое тесное соседство встречается крайне редко и стало уместным, вероятно, лишь благодаря вымышленному, кинематографическому контексту. См. [Масловский 1980].

<sup>30</sup> Слово *авария* родственно немецкому *Havarie* и имеет, по всей видимости, арабское происхождение.

<sup>31</sup> Происшествие в Чернобыле называли также и несчастным случаем, из-за чего некоторые исследователи выражали обеспокоенность. См. [Lemarchand 2004: 170].

<sup>32</sup> Анализ попыток контролировать дискурс о чикагской жаре 1995 года см. в [Klinenberg 2002: 23].

в Армении и *аварии* в Чернобыле, был довольно схожим, политические их последствия существенно различались, и потому они требуют пристального изучения.

Упомянутые различия присутствовали не только в Советском Союзе: американские политические дебаты также проходили в схожем контексте. Дебора Стоун так определяет этот процесс: «В то время как одна сторона в политической схватке ищет способа поместить проблему в сферу человеческой ответственности, другая силится вытолкнуть ее в сферу природы, лишив всякого умысла» [Stone 2012: 219]. Данный тезис косвенно объясняет популярность телеканалов, посвященных погоде. Как заметил один метеоролог, «больше всего в нашем канале людям нравится то, что во всем этом – никто не виноват»<sup>33</sup>. Недавний всплеск внимания к глобальным климатическим изменениям несомненно поспособствовал осознанию человеком собственной роли в природных катастрофах, и тем не менее сваливать всю вину на саму природу как было, так и остается весьма выгодной политической стратегией. Официально в Советском Союзе, конечно, в этой политической схватке присутствовала лишь одна сторона, что, впрочем, не мешало руководству страны пытаться отодвинуть проблему подальше от каких бы то ни было подозрений в человеческом умысле.

Бедствия и слова, использовавшиеся для их описания, отражают изменения в практиках и приоритетах тех или иных советских руководителей. Вместе с тем бедствие не является сугубо политическим феноменом, поскольку оно само по себе уже выявляет характерные социокультурные элементы того ли иного социума. Советская страна гордилась своим этническим разнообразием, так что бедствия становились очередной возможностью для членов национальных республик выступить единым фронтом в деле отстраивания или перестраивания пострадавшего города. Лозунг о «братстве народов» – превратившийся с середины тридцатых в «дружбу народов» – являлся одним из ключевых элементов советского проекта<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Цит. по: [Stone 2012: 218].

<sup>34</sup> О переходе от «братства» к «дружбе» см. [Мартин 2011: 432–460].

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.